

ВЫ МАТРИВАТЕЛЬ

Юна Аетис



Юна Летц

Высматриватель

«Автор»

2014

Летц Ю. А.

Высматриватель / Ю. А. Летц — «Автор», 2014

ISBN 978-5-44740-035-4

Тайнопись о социальных сетях и боевых смыслах, о людях и высматривателях. На берегу рыбокаменной реки в доме из вулканного туфа живёт человек, который очень дорожит своим одиночеством, но вынужден нарушить его, чтобы исполнить важное задание – поехать в город и устранить искажённое видение мира. В путешествии к нему присоединяются помощники: Дариус из социального меньшинства «странные», ибога – модель человека, белые педанты, метафорик и другие жители каузомерного поселения, где укрываются от информационного шума люди, не желающие деградировать. Гюн пытается дойти до предела, чтобы найти там бумажный лампийон и получить озарение, но странствие по человеческим душам оказывается слишком тяжёлым для него. Финальное сражение с мауком выявляет эту огромную брошенность людей среди войны, в которой отсутствует какой-либо герой...

ISBN 978-5-44740-035-4

© Летц Ю. А., 2014

© Автор, 2014

Юна Летц

Высматриватель

...Это был такой день, когда у меня выпали все ресницы. Я смотрел на свои глаза и видел надутые толстые веки, как будто я обрастал самим собой, и в этом было что-то пророческое: я действительно обрастал. Когда это началось, я сразу же спрятался, чтобы не привлекать к себе внимания. У меня были гости, какой-то праздничный день, и я сразу же спрятался, вошёл в свою комнату и стоял перед зеркалом, голый как глина. Я стоял там и стирал свои брови, потому что они и так бы вскоре опали. Волосы перестали держаться на мне, и я начал беспокоиться по поводу зубов, но во рту изменений не наблюдалось, разве что немного горечи. Бровей теперь не было, но лицо ещё сохраняло некоторые контуры – по сравнению с телом, которое как будто вывалилось из формы, и его тащило в разные стороны. Пальцы взорвались, и я даже не мог ползать ими в ушах, хотя мне нестерпимо хотелось протиснуться чем-нибудь в слуховой канал, потому что мои уши стали как явление; это были не уши, но ушие, и оно зудело – так неприятно, подзуживало. Отверстия почти совсем затянулись, поэтому мне приходилось время от времени вставлять туда какие-то предметы. Чаще всего я использовал питьевые соломки, которые разрезал на несколько частей, и тогда можно было подпирать ими разные угрожающие наросты.

Слышал я теперь очень плохо, но видел более-менее нормально, и то, что я видел перед собой, не было похоже ни на человека, ни на горе. Я был тушей со многими значениями, и когда зашёл один из моих приятелей, он даже не понял, как это прокомментировать, а просто выбежал из комнаты. Я слышал его неравномерные вздохи, как будто он давился самим собой, и я подумал: *может, у него тоже это случилось*, но даже если и так, чем это могло мне помочь?

Я смотрел на себя в зеркало и видел избыточность, переведённую в масштабы человека, но все эти изменения были совершенно незначительны по сравнению с тем, что происходило у меня внутри. Это были целые боги тоски, если когда-то существовали боги мира, то это были боги тоски, они скреблись внутри, невидимые, и в них необязательно было верить, хотя они тыкались там иголками, мол, «поверь, поверь»; и это нельзя было выносить без определённого уныния.

Состояние моё ухудшалось, и началась новая стадия, а именно – я почувствовал свою сущность, это было похоже на знание – я как бы знал свою сущность, мог понимать её описание. Это выглядело особенно удивительным по той причине, что в сущность я никогда особо не верил, но то, что я чувствовал, – это была именно моя сущность, как и душа, она душила меня, определяла меня, и я говорил: *нет уж, так не пойдёт, я сам по себе, сам (по себе)*.

Вечером я обмотался одеждой – так, чтобы не выдавались неровности кожи, обмотался с ног до головы и стал похож на обмотанного, и теперь меня можно было по-разному трактовать – как артиста, как странного – тракт, и это лучше, чем чистое осуждение. Я убедил себя в этом и пошёл в осмысленную темноту – туда, где звуки стояли по всем сторонам, ездили машины, топали люди, и так создавалась улица. Я перескочил на боковую дорожку и двинулся к тем маленьким домам, где жили колдунные тётки. Одна из них попала прямо на тротуаре, я вцепился в неё и прошептал в ухо: *я обрастаю самим собой*, но она вывернулась и бежала от меня, сопровождаемая собственной резвостью. Все другие сторонились тоже, но одна всё-таки взялась за меня. Это была не тётка, а просто она жила тут и кое-чему научилась.

Я должен рассказать о ней подробно. Это был бар, и она сидела там – страшная, как яблочный монстр, злая такая, безвылазная, она сидела там и барабанила руками по бару, как будто слова перепутала и теперь барабанила, короткие волосы – острая проблема, линией срезаны, как самолёт пролетел. Она была уже стареющая, выносила себя как мусор из дома, сажала куда-нибудь на восток и пела туда, обращаясь к невидимому эстету, голос исходил от неё ниточкой, тянулся из старозащитного шва, и там открывалась эта рана глубинно-серого цвета, этот шанс, который хранился под кожей, и раньше она хотела вытащить его оттуда, воспользоваться, но как-то не получилось, и со временем она перестала пытаться. Обстоятельства швырнули её в сорокапятилетнего человека, и когда она летела туда, то попыталась расслабиться и только смотрела по сторонам: *как ангел лечу*, думала она, и в этом состоянии я встретил её в одном из баров. И ничего не надо было объяснять, она сразу же поняла:

– Знаешь эту историю? Одному парню в голову пришла мысль, и она была такая острая, что он поранился этой мыслью, и у него развился скепсис. Так до конца жизни и ходил с ним. И здесь у нас похожая ситуация: кто-то пустил в тебя информацию, она попала под кожу, и случилась эта инфекция, воспаление всего человека...

– Поэтому я обрастаю собой?

– Нет, ты обрастаешь не поэтому. Но поэтому ты заметил, что обрастаешь.

Так она сказала, и я всё понял – причины внезапного проникательства, и этот дискомфорт, эти опавшие волосы, взорванные пальцы – ненасытность из рода в род – *когда ты утонул в своём теле*... Она сказала, и с того момента я уже не плыл – я знал, куда идут мои ноги, и зачем они туда идут, а вода переходила в пейзаж, который я создавал своим зрением, «стоя на берегу рыбакаменной реки»...

– А где эта река? – спросил кто-то.

Река, речь. Ещё раз сначала, пожалуйста.

* * *

Он стоял перед чётким двухэтажным домом из вулканического туфа, обращённым перпендикулярно движению густой живой реки, слетающей по камням выпуклыми зеркалами рыб, и в его глазах отображались разноцветные мечты, дом и река, приспособленная в виде пейзажа. Он хотел бы остаться тут, сидеть внутри одного из окон, как плоская мушка-стекольная, или осознанно врать сюда, обладать в голове, словами говорить: *я домой пришёл*. Но до этого далеко было, так далеко, что ноги скрипели, выросшие из туловища готовыми шагами, – ни одним органом своего тела Гюн не доходил, как ему этот дом обрести.

Где-то в глубине головы – тонкие подёргивания, стремление росло медленно, сплеталось из импульсов и памяти. Какие-то архетипы, история из детства, как и полагается, там один из родителей, по виду женщина, и она говорила: *если ты что-то захочешь – высмотри это*. И теперь он стоял тут изо дня в день, худой, относительный, и высматривал дом из туфа, врытый в берег рыбакаменной воды.

Требовалось чёткое ощущение цели. Другое было врождённым – умение смотреть. Ребёнком ещё человек начинал понемногу высматривать: сначала одну стену высмотрит – заплачет, чтобы его перенесли куда-нибудь, потом – другую стену, потолок, комнату, весь двор и всю улицу. Потом станет взрослым и, может быть, захочет высмотреть весь мир и многих его людей, но завязнет где-нибудь в одном городе, одном наборе друзей и каждый день будет

высматривать одни и те же цифры, буквы, дела, лица, пока не расстанется с последними силами любопытства. Но пока ещё не завяз, у него есть шанс всмотреться во что-то такое, что другие люди не видели никогда, и стать собственником этого озарения.

Люди не сразу заметили, что могут смотреть так особенно, так внимательно смотреть и потом носить это в себе как воспоминание. Многие тысячи лет они обманывались, думая, что видеть – это единственное предназначение глаз, но оказалось, что всё намного сложнее устроено в человеке. Каждая его мысль, каждый импульс, возникший в голове, – это была сила, способная деформировать материю, присоединять её к своему пространству мысли. Высматривая что-то, человек вступал в обладание этим.

Когда Гюну рассказали, никто ещё толком не понимал, и схемы никакой не было, только это слово «высматривать», и он старался подгонять под него всё, что происходило. Он помнил, как ходил вечно охрипший, с пораненным горлом, стараясь объяснить, что у него существует потребность – и: *дайте-дайте посмотреть (вы)*. Родители приносили ему картинки и развлечения, но всё было мимо, он хотел то, чего ещё не существовало на свете. Только потом, через множество лет, он понял, что это можно получить, только создав.

Тогда уже он начал ощущать, как будто его взвешивают на каких-то огромных космических весах, и он старался обрести устойчивость, как-то закрепить себя в выбранной координате, и многие годы книг, высаженные десантами прямо в голову, летели на парашютах, но упали и вросли, скучившись в подвижный жизненный штырь. Это то, что определяло его «внутри», это был вопрос, который спрашивал, и мир, совершающийся снаружи, отвечал собой.

Такое не сразу удалось: сначала он просто учился, разносил сдвиг, прислонял его к какой-то ситуации, и она ехала. Ходил, обросший нервами, видел вокруг нераспакованные папки смыслов, но вскрыть их он пока не умел и изучал себя, шёл, стараясь не предсказать досады, шёл мимо вращения улиц, иногда он ранил себя, всматриваясь в стену, которую не удавалось обойти, и застывал так, выкинутый назад в своё человеческое, лежал, растянутый лопатками по кресту своего тела.

В эти моменты он ощущал страх, сжимающий людей в общество, и это была мерзость, чужой бой, которым его окатило, море, от которого он мокрый стоял, но слёзы затекали обратно: *страх неживой* – это был вывод, который при частом повторении оставлял внимательными глаза, даже если казалось, что они вот-вот перестанут смотреть, – так было страшно всматриваться вглубь некоторых событий и людей, и каждый раз предстояло гнать этот страх вон из всякого дела.

Так у него выстраивался собственный взгляд, и так он стал замечать вокруг эти сгустки, откуда истина скреблась, ломая ногти, – чудище для иных, но Гюн увидел её прекрасной и какая она была живая, по сравнению с ней люди казались полумёртвыми, палочкой своего тела постоянно ворошили себя, тревожась: *недохлый ли? – вроде бы пока не издох.*

Странно было сказать, что он жил где-то в стороне, так он не жил, но был составляющей этого куска, подвешенный на побегушках собственных мышц, носился, демонстрируя своё мясо. Он обитал среди людей, и всякие уроды, вросшие в свою историю сбоку, вещь-подобные существа, как моль, зубами перешагивающая ворсинки, – шапочное знакомство на уровне насыщения, вымалчивание чего-то большого – раньше, теперь – вымалчивание пустоты

и какая-то чушь, забивающая дни, уроды-люди и уроды-поступки, которые катились в его жизнь, и Гюн прыгал на мышцах как фантош, держал себя мышцами, но иногда мимо – нерв попадал, и вместо верёвки как натянутые звуки ничтожной музыки, боль, скрипение, и он не мог уже дальше продолжать. Обезумевший от внутренних знаков, которые скопились на фоне этой наступающей пустоты шума, он должен был вывернуться как-то, спастись, и тогда Гюн начал работать над своим зрением, и тогда он начал уходить от людей.

Это было не резко, но всё же некоторые заметили и шептались между собой, говорили: *что это с ним*, и кто-то отвечал, что *он заиклился* – говорили и мотали сочувственно головой, и порывались лечить – комкали образцы и потом кидали ему по направлению в лоб, так что в ушах продолговато звенело, и надо было как-то полечить этот звон. Для этого он создал ощущение свободы, потом вышел наружу из этого ощущения, разложил его перед собой и долго смотрел, как бы стараясь вмыслиться в эту ткань, пока ещё размазывалось, но в один из дней появилась резкость – спонтанно, как и бывает с иными силами.

Это был день, когда он почувствовал, что надо сидеть, и он пошёл в парк, и он сидел на скамейке с целью подышать этими городскими эманациями и как бы немного проветриться – там же листья везде воткнуты прямо в деревья, шевелятся всем телом, примагниченные. Он сидел там, трогательный такой, как человек в парке. Он сидел там и смотрел на оранжевую тележку с жевательным светом, которая напоминала скомканную гирлянду, он смотрел-смотрел на неё, и всё как обычно, только какое-то чувство внутри... Он зажмурился, а когда вернул взгляд на место, это были обычные жевательные конфеты там, никакого света. *Я вытянул его, высмотрел весь* – так он предположил и отправился на поиски подтверждений. Увидел нищего и высмотрел у него все деньги из души, посмотрел на парковые часы – высмотрел время, и все вокруг заторопились: времени стало не хватать, увидел солнце и чуть глаза не высмотрел, но вовремя остановился и подумал, что и этих примеров достаточно.

Надо было продолжать учиться, выбрать объект и смотреть на него так уверенно, просторным взглядом смотреть, как бы затягивая внутрь – не только в виде воспоминания, но переманивать в себя его функцию, атмосферу, историю – желать, жаждать, размягчить его глазами и прыгать на нём, как на резине, плыть на нём, вить из него виточки, паутинки, сжимать его, пока однажды объект не станет таким близким и таким компактным, что бы его можно было высмотреть в один взгляд – как прочесть, узнать, обрести. В этом не было никакого колдовства, а только логика и умение. И вскоре он был до такой степени силён, что мог высматривать некрупные предметы, и некоторые идеи высматривал прямо из чужой головы, то есть стал в истинном смысле проникательным, и теперь был готов посягнуть на что-то большое и значительное. С этим выводом он стоял перед домом из вулканного туфа и пялился на него несколько месяцев подряд, потому что ему очень хотелось иметь дом и видеть реку с балкона, и жить так, как он придумал, высмотрев это в своём будущем.

В доме жили другие люди, это был их дом, они построили его, устраивали вечерние посиделки, они создали для себя интересную жизнь, и Гюн захотел высмотреть всю эту жизнь, и эту радость, которая жила там. Он изучал их характеры, знал увлечения каждого члена семьи, и всё ему казалось таким близким и понятным, таким похожим на то, что он делал бы в своей жизни сам.

Эти люди – он нашел их совершенно случайно. Стоял как-то на одной ноге в центре города и смотрел на свою тень, которая лежала на асфальте в виде какого-то символа, но Гюн ни как не мог вспомнить, что это за символ, и тогда он решил обвести свою тень мелом, чтобы

получше разглядеть, но как только он сдвигался с места, тень становилась другой тоже, и тогда он понял, что ему нужна помощь. И тогда он обратился за помощью к одному стабильному и крайне устойчивому человеку, который стоял в одной и той же одежде на углу. Этот человек так крепко стоял и иногда только приближал звук ко рту, выдыхая угрозу. У него оказались нужные мелки, Гюн принял исходную позицию, и человек обвёл его тень, а также прочитал символ, который тот старался выстроить из себя.

– Навязчивые идеи, – сказал он и засмеялся.

А Гюн сразу же подумал, как это точно сказано, и пошёл покупать спицы, чтобы побольше таких идей навязать, пошёл в магазин, где продавались вязальные спицы, и купил сразу восемь пар – на случай, если идей будет много, но когда он пришёл с этими спицами туда, где любил стоять на одной ноге, и когда начал вязать, то понял, что не может вязать без ниток, и стал стягивать нитки из кофт, которые проходили по улице. И только у него стала навязываться какая-то идея, как его положили на землю, ограбили и ткнули чем-то жидким в руку – так ткнули, что проснулся он только через восемь лет, и то не окончательно проснулся, а долго ещё засыпал на ходу. И тогда он поставил себе точку в другом конце своей комнаты и шёл к этой точке, стараясь не уснуть.

Однажды он всё-таки дошёл – до точки, коснулся её и с тех пор спал только по ночам и только лёжа, как говорилось во встроенной инструкции к матрасу, который время от времени появлялся у него на кровати. После этого жизнь стала налаживаться: он просыпался, садился на пол и долго высматривал стену, которая стояла перед ним, он вспоминал, каково это – высматривать, и в какой-то момент Гюн вдруг увидел своё детство. И он подумал, что должен найти какой-нибудь дом и жить в нём, потому что ему надоело шататься по этой комнате, где он всё уже высмотрел и до всего дошёл.

Все эти тени, спицы и восемь лет на самом деле каким-то хитрым способом уместились в одну долгую и пронзительную мысль, в конце которой оказался дом, стоящий на берегу пространной реки, слетающей по камням выпуклыми зеркалами рыб. Теперь Гюн стоял перед этим домом, и это был его собственный дом, который он выстроил несколько лет назад, и это была его собственная семья, и даже он сам, греющий угли по выходным, и его любимый балкон-камин с видом на реку, и умный очаровательный пейзаж, пришитый к этой реке. Он стоял перед этим домом и смотрел на свою жизнь, но что-то не давало ему покоя, что-то было подвижно. Картинки не сходились: то, что он имел в виду, и что на самом деле случилось, – это не сходилось никак, и Гюн чувствовал подвал, и смотрел на этот подвал, но никак не мог его залечить, и иногда у него появлялось ощущение, что, может быть, он не себя открыл. Где-то был колокольчик, где-то была дверь, и даже звонили, но он не открыл. Спал, или говорил по телефону, или спал, а потом звонки прекратились, и он остался запертым, и двери начали зарастать, но нельзя было допустить – чтобы они заросли, иначе через что он выйдет, когда наступит решающий момент?

Это ощущение касалось не только его одного: это было явление, всеобщее, атмосферное, через вдохи людей, через их головы протиснутое по мозговому тоннелю, как верёвка-бытие, как некая жила. И по этой жиле скакали незваные гости, оставленные голоса, как новая форма связи, электронное эхо; и маленькие хохли шарились по углам, говорили: *пасих, пасих*, и высматриватель не мог понять, как это расшифровать, пока что-то не мелькнуло, это было «спаси», они просили у него помощи: *спаси их, спаси*. Кто-то призывал его, говорил: высматриватель должен помочь, он должен прийти и дать интерпретацию этого мира, он должен выста-

вить правильный взгляд, началось большое искажение, и нужен взгляд – сильный особенный взгляд, через который люди увидят настоящие ценности, с помощью которого они настроят своё зрение...

Он спрятался, растворил себя, выглядывая зеркалами рыб он увидел это – полумрак, воцарившийся в мире, и этих людей, которые стряхивали корабли со своих мыслей, стояли с подарочной коробкой из самих себя, а внутри были убитые души, каждая упакована в отдельный пакет, и это тот самый праздник, во время которого у него выпали все ресницы, – так он предчувствовал грядущий ответ...

Вышел наружу из своего дома, встал перед ним, встал около реки, в середине пейзажа встал и начал собирать собой, он копился, и когда было достаточно, Гюн закрыл глаза и разразил нужный вопрос в своей голове, как вспышку, – стекловидная молния понимания. Электричество растаяло, и как-то пасмурно стало, облака стояли как занавес, серое небо с большими дождями, застрявшими где-то в горле водного пути: что-то кончилось, и что-то не началось – таков был ответ, и нужна была сцепка, раствор или смола, а может быть, скотчем обмотать, чтобы ноги человечества не разъезжались, и вышагнуть на ту сторону перемен, встать там обеими ногами, демонстрируя целиковость, и сказать: *это была проходимая пропасть...*

Так Гюн заглядывал в глубину большой головы, пока не погасли звёзды и небо не затянулось ночью, и тогда он увидел, что кончилось – свет кончился. Вот что он увидел, и таково было продолжение ответа: *свет конечен*. Так его озарило, и высматриватель сразу же двинулся в дом, чтобы припрятать эту вспышку получше.

* * *

Свет кончился, но не весь. Остальной свет крали и растаскивали с большим рвением. Мало кто понимал, что именно происходит: вечерами кто-то подбегал к лампочкам и высасывал свет, чтобы потом можно было светиться изнутри. Свет крали: вначале из общих запасов, потом вынимали друг из друга, загнанные в темноту собственных представлений о жизни, мёртвых представлений, которые они продолжали понукать, как возможную лошадь, – люди тащили свет. Драматическая миссия, резкие удары пульса, звёзды зажигались в установленный срок, как и оговорено, но чёткая осязаемость радости была утеряна, тьма за стеной человеческого – стояла, люди ходили, как мрачные комментарии к своему времени, тёплые лица были погашены.

Свет как ультиматум чудесного – крали. Матрическое пространство было открыто, всё было открыто, но только люди продолжали воровать друг из друга, ходили замкнутые, густонабитые проблемами, ходили по траекториям предков, зазубрив века, ходили – похожее на монотонность безучастное жизненное. Загнанные в угол заброшенного царства животных – видно было, как вопросы слипались в их головах, зарастали, извилинами шли, но не дошли, ответов было не видно, и чтобы рассмотреть, они – крали, чужие истории, чужие радости – свет крали.

Общие запасы быстро растащили – все эти культурные фонды, вечные ценности, – и осталось предчувствие – полумрак, анонс мира, афиша, но сам мир всё никак не начинался, потому что... много разных причин – и в том числе света не хватало, обычного такого, проекторы тёмные стояли, люди тёмные. Холодные проекторы, или тоже светили чёрным, это было самое дешёвое излучение – в серых тонах, что-нибудь такое обыденное: четыре катастрофы за один день, или все мы умрём.

Света не хватало, и тратили внутренний свет – сначала оно как-то там восстанавливалось, но потом он истрачивался весь на сквозные ошибки, на подражание и зависть, и дальше уже надо было откуда-то извне добывать. Или как-то договориться со своим организмом – влить в него и сидеть там: зажмуренные глаза – высматривание прошлого, но прошлое мало давало энергии.

Воры эти – повсюду, они ходили тонко и незаметно, чаще всего со стороны друзей, со стороны безопасности, они подходили и делали такое милое лицо – хитрое, скорее, не хитрое, а хищное и начинали смотреть. *Надо отсюда уходить*, думала жертва, но – поздно: если испугалась, то уже поздно, вор как бы подкрадывался, как бы нависал над ней, мучил, и человек начинал видеть только плохое, и люди для него становились злыми, и время – «другим», и ржавые зубы тоски, никуда не деться, ни о чём не помечтать...

Без внутреннего света тяжело было видеть как раньше – новая форма темноты, и человек выпадал на улицу и находил эти страхи, тёмные, как бесполезность, объёмные, бесчеловечные условия жизни, глыбистое стояние офисных зданий, великолепная сплошная досада, люди, навьюченные правилами и прогрессом, с их узорно выкрученными руками, с их обстоятельствами, с лицами мелких ушастых птиц, закутанные в распорядки служащие, кислое вино дорог, хватка толпы – мёртвая, головы с раздвижными принципами – разгадывали случайно, потеряв их хорошенько об языки, – эбонитовый разговор.

Свет – это был главный ресурс теперь, каждый хотел бы светиться, но некоторые уже не понимали, что имелось в виду, и затаскивали в себя искусственное освещение – модную подделку. По улицам ездили передвижные события, которыми собирали свет, и потом тут же паковали его в банки-плафоны из тонкого, почти прозрачного пластика и выставляли на продажу. Свежие плафоны стоили довольно дорого, но с каждой минутой цена уменьшалась: старое событие никто не хотел обсуждать.

Натуральный свет сложно было отыскать: в продаже его не было, запасы хранились в головах – надежнее всего. Кто-то выпускал в слова – но редко, всё больше напихивали в себя, светились как бы, но снова не хватало, и это было просто понять, когда в человеке истинный свет, а когда это подделка, гримёрная масса лица. Беспечно светились дети и девочки переходного возраста, но на них так часто нападали, что к ним было применено правило изоляции, в результате которой они теряли своё преимущество намного быстрее, чем естественным путём.

Без света не получалось высматривать, а значит, можно было быстро стать неудачником, а никто ведь не любил проигрывать, тем более что сражение шло совершенно открыто. Это была война, битва на тему того, кто больше высмотрит. Люди высматривали приключения, страны, неожиданные знакомства, смешные истории, большие достижения, люди высматривали редкие вещи и те, которые были дорого названы. Тащили друг в друга: фотография ужина, сэндвич с французским языком, в магазине паштет-монстр, спасите! пупок тикает, страховка от несчастного случая на санях, тревожный кондиционер, саркастическая улыбка и губы размером с бостон, ложное свидание: под воздействием логики слёзы останавливались сразу же, крики и удовлетворенная паства, новая кофточка/душа, старая уже изнасилась, а у меня ещё старая: какие-то встречи, окна, работа и «живёт теперь, плоский, резкий», люди с многодневным лицом, роясь в мусорных черновиках гениев, а ещё какие-то приглашения, с перспективной хитростью, передавленные тихими стереотипами, супервытяжка из искусства «почему деревья посажены, если они стоят?» и далее разное всяческого содержания – люди высматри-

вали всё подряд. Некоторые смотрели избирательно, но этих мало осталось, слухи о них были растасканы по головам и не вошли в общий фонд воспоминаний. Многие не вошли, но кто-то всё же сумел проползти, и эти считались редкостью, странностью, их принимали за чудаков, иногда говорили *зануда-зануда*, завидовали, но чаще сторонились так организованно – склеивались в человеческие шары, чтобы катиться куда подальше.

* * *

Когда он начал серьёзно высматривать, у него не было никакого плана, у него не было учителей и не было специальных очков для вытягивания сути из вещей, у него не было никакой судьбы, по крайней мере, он не чувствовал вокруг себя особого преимущества, как некоторые как будто висели в каком-то гамаке из событий, нет, Гюн ни в чём не висел.

У него не было никаких хозяев, он не сидел за стеной, отделяющей его от собственного превосходства, он не напяливал доспехи в виде башки и костюма, он никогда не «делал» себя, посматривая на человеческие мастерские, и, кажется, с самого раннего возраста уже был тем человеком, которым хотел бы однажды стать. Он был высматриватель – сначала так, потом он был высматриватель и жил на берегу рыбокаменной воды. У него не было друзей и не было повода искать их, он изучал мир не людьми, но высматривал его: сначала из мозготочки, потом ему удалось вывести себя из этого внушения, ему удалось развиваться и смотреть из мира на мир, избегая фильтров в виде человеческой самоидентификации. Так многие были обречены обнаруживать везде собственное «я» и чувствовать восторг, но в нём этого не было, а если нужно было что-то из человеческих состояний, он просто шёл в бюро своего мозга и говорил: *вот вы меня, пожалуйста, переведите в грусть или замкнутость*. И вряд ли какой-то документ давали, слов никогда не хватало, что-то такое – *субстанция субстанций*, мало кто умел разобрать, но Гюн умел.

Он собирал собой, захватывал пространство и носил его мысленным космосом, он держал собой, сдерживал – но когда приходил момент, Гюн знал, что она подходит к нему – в истинно-синих тонах, мучительная, прямолинейная, и чтобы ухватить её, надо было затаиться так, предчувствовать это, но не принимать на свой счёт, а просто ждать, висеть в этой пристальной пустоте и ждать, кто же из них раньше прорвётся. Взгляд – это была сила, которой человек оснащал свои намерения, и материя включала сопротивление, давала возможность почувствовать свою хватку. Надо было зацепиться за причинные связи – как внутренними качествами зацепиться и тянуть так, чтобы швы разошлись, и тогда можно было вмыслиться в образовавшийся промежуток, плодя тёмных глазных призраков, считающих своим делом присвоение новых содержаний мира. Когда он высматривал, то был растянут на весь мир, сцеплен со всем миром: его кости лежали в древнейших пещерах, его шаги оставались на камне, его голосом шумели улицы, его сердцем любили влюбленные, его верой стояли купола и прыгали тела через костёр, его знамением гибли народы, его смелостью летали планетные корабли, его душой обматывались целые эпохи.

Гюн был профессиональным высматривателем, и это значит, что в какой-то момент ему всё же пришлось работать наёмно. Какой-нибудь человек давал ему свою веру и предлагал высмотреть тот или иной объект, то есть рассказать, какой путь к этому объекту самый короткий. Ему заказывали проекты и должности, гранты и победы, он высматривал новые отрасли и ресурсные месторождения – десятки заказов, рвущих воображение, заглушающих цветные крики какой-то большой идеи, которая тогда ещё не сложилась. Высматриватель предлагал короткие пути к достижению цели, но они были короткими не в том смысле, что отличались

лёгкостью прохождения: они были надёжными и развивали сознание – в этом была заключена их лучшесть. В человеке не заложено источника свободы, свобода – это процесс, и надо было ощущать его в себе, но при этом не заходить за границы добра и придерживаться состояния развития.

Он работал в доме, или около дома, или напротив реки. Это была рамка из натуральной реальности, в которую он проталкивал эти путанные нервы случайностей, выделявая из них всяческие совпадения, спонтанные встречи и прочие вспышки из темноты ревущего будущего, в которой другие ломали шеи, но Гюн был своим. Вкручивался туда, как земляное животное, и рыл, пока не наталкивался на просвет.

Он не боялся предчувствий, он любил тяжёлые страшные сны, в которых его запихивали в нору и протаскивали по мокрой гнусавой земле, по вою чёрного цвета, порождённому гнильём животных и людей, битвой сосудистых растений. Он полз, продёргивая под кожу страх и покрываясь кожей страха, ему было темно мечтать и темно бояться, но он открывал рот и впивался в землю всем своим любопытством, как выношенный в глиняной матке младенец, поглощал её. Это были лучшие сны его ночей. Так он отдыхал от самого себя – в снах. Ему нужны были контрасты, и он выискивал натуральную темноту, чистую естественную границу любого начала. Он выковыривал темноту из города, из коробок с едой, из дверных щелей, из сломанных лифтов, он бродил по тоннелям, он заказывал чёрные коктейли в барах, приходил вечерами и жил там, где горели эти потухшие лампы и сидели эти коптящие тела, и так ему было хорошо потом вернуться к свету, так ему было хорошо потом взять небо, пикник, скалу и положить себе в глаз.

Самая глубокая темнота – это была темнота будущего, и её можно было разорвать только бесконечными практиками, монотонным пристальным высматриванием, зайти в неё тихо-тихо, ноги, как тонкие ворсинки, шевелятся маленькими переходами, идёт, как будто и нет его. Надо очень быстро пробраться, очень быстро, а затем постоять в уголке, там же везде темнота и уголок везде, постоять там, раскачиваясь как несозданное – это таинственный шпионаж.

Гюн прятал себя от человеческих состояний. Он жил у реки, он был затворник собственной мысли, но лучше так, чем всецело её растерять, тащась за выгодой чужого расположения, и потому он практически не выходил, работая у реки, и с этим не было каких-либо проблем: люди заказывали услугу и получали её исполнение в оговоренный срок. Он жил в своём доме из вулканного туфа, и он ни в чём не нуждался: ему давали деньги и возможности, ему привозили еду, он был тотально обеспечен и абсолютно свободен, и мог посвятить себя походу в ревущую темноту будущего, но оставалось последнее задание.

Это задание было настолько тяжёлым, что он чувствовал себя слепым, берясь за него. Как человек зрением создаёт мир, и всегда можно создать из ничего, но в этот раз он никак не мог зацепиться глазами, что-то слепило его – неопознанный объект, расфокусирующий боковое зрение, как ощущение вогнутого, и чтобы избавиться от него, ему предстояло уйти отсюда, покинуть свой дом, но Гюн не мог просто так уйти, выйти за дверь, повернуть ключ и шагнуть, гордо подкидывая затылок в жесте «до свидания»: так он не мог. Это был особенный дом, такой дом, который, единожды обжив, нельзя было просто оставить; это был дом, как координаты мысли, и какая-то нераскрытая карта – не карта, но только дом из вулканного туфа, дом и рыбокаменная река. Всё это было настроено как ракурс для мира, осталось только устремить свой взгляд, расчистив пути, и Гюн принялся расчищать. Он не хотел уходить, но стоило уйти сейчас, чтобы потом остаться тут навсегда.

Перегнувшись через пуповину, которая проросла в самое начало времён, Гюн наблюдал за болтанием своего тела, которое было привинчено подошвами к низу, а сверху торчало головой, ограниченной двумя ушами и одним взглядом, он висел на этой длинной тугой перекладине и всё хотел перестать, но человек не мог перестать, он умирал, стоило ему только перестать, и тогда он решил подменить себя, оставить перегнутое тело и вырастить добавочную жизнь, свою же, но не привязанную к этим координатам. И он начал растить её в разные стороны – три листа, типичный обыкновенник, троелюдие: первый человек продвигался внутрь себя прижизненными мутациями, другой был чахотник – чихать на всё хотел, третий носил с собой банку для альтруизма, и туда сыпалось разное добро.

Гюн сел около реки, и это была такая река, что пускавший наживку никогда не знал, что может выловить, раньше говорили, что рыбу, но теперь эта метафора не работала, и ловилось самое разное – от одиночества до страха, но чаще всего тишина попадалась, такая невесомая, золотистого оттенка, и теперь ему нужно было запомнить себя здесь, выговорить на эту воду, и он спрашивал: «Кто я такой?» И сразу же отвечал: «Я – высматриватель, и всё, что вижу, я пропускаю сквозь этот дом и водные зеркала реки. Выводя свою жизненность вовне, выводя это тёмное пятно, я умею смотреть. Я – высматриватель». Так он повторил, наклонился и сгрёб немного речной вулканной тишины в руки – шаши, как он её называл, завернул в бумагу, спрятал в карман и пошёл готовиться к путешествию.

* * *

Не слышать их никого. Птица. Это проглотить, глотание, ноги голые, идёт туда (как маленькая игра). *Надо бы себя запомнить, чтобы не потерять, хоть это такое...* Шкурка. Вспотела холодом. Мокрая стоит, как подводная, никто не подходит. Хотела бы овладеть тайной, но самая простая – стоять. Стоящая. *Пожалуйста, передайте соль.* Это какой-то фуршет, это сборище, и все собираются, идут волнами, рассматривая друг друга. Топают подошвой – гвоздём, вбивает себя в землю, улыбка, и что-то образовалось вокруг – разговор. Вращаются в своих кругах, люди, вытормошены из своей пустоты, засунуты в уникальность – крутятся. Кто из них полетит?

Завёрнутые в причёски, приукрашенные сигаретой. Говорят. Что-то насчет погоды, налоги, налегают – вежливо перешли на веранду, медный саксофон, и эти салюты как публичное мотовство – столько света выброшено, но это же «светские». Блестящее всё – от платьев до глаз, как специальные линзы, улучшающие сияние, сверкающие взгляды, уверенные, зубы с камнями, и маленькие лампочки под кожу вставлены, открытые поры и оттуда мелкими лучиками... *роскошно, роскошно...* Живые перегородки из дыма и лести – стены и кабинет, это же люди, самоценные, украшенные собственными отражениями, изо рта – рваные предложения, язык прямой как вульгарность, изобилие форм и краткость содержания – говорили, бесконечными сплетнями шлифуя собственную ограниченность.

Люди выходили на свет, и в них светили из специальных приборов, делающих любого прекрасным. Обменивались новостями, и общее дело – маленькие заводики по производству впечатлений: изобретение нарядов, украшений, видов лица, выступление на тонких палках, акробатические шаги – производство впечатлений двигалось в полную мощность, сигареты дымили, лица сияли, и выделялась праздность, взятая в чистом виде, – привычно востребованный продукт.

Столы, и они ходили там, с маленькими сумочками, показывая, что не берут про запас, и голые плечи без грабель в рукаве, так они утверждали, что не будут грести, и выставляли зубы как перемирие, – сияющая улыбка, эффект коллективного договора. Подворачивались под глаза, говорили, что чем больше высматривать человека, тем лучше он сможет проявиться. Искусственно раздутое свечение, слишком далёкое от натурального, но слишком дорогое, чтобы просто так его игнорировать.

Идущие по кругу прыжки, подарочные, нарядные девочки, всем надо было улыбаться, хоть от этого зубы окислялись, но они придумали бронировать белым. Женщины с сосредоточенной грешностью, в розовых муках, прыгающие в обман, который сами раскрывали, и они носили с собой эти портативные ямы, подсаживались к людям и спрашивали: *а вы не интересуетесь ямами?* – *А какого вида ямы у вас есть*, и они показывали краешек: *будете прыгать?* – *Почему бы не прыгнуть* («все только ямами и промышляют – и я туда»).

Свет такой горячий был, меха – раздували ещё: меха, сплетни или сразу приходили в них, ходили в этих мехах, и меха стояли отдельно – мёртвые животные; почему бы не надеть самого себя, не натянуть кожу на лоб, но и так уже делают. Толпа, набившая карманы фейерверками, с заплетенными в кучки волосами, с блёстками на одежде, рвали руки, желая ластиться.

Да, она приходила сюда сама, никто её не тащил, она приходила сюда, такая же разодетая, блестящая, и она стояла там и ждала, когда кто-нибудь подойдёт, чтобы она могла окончательно передать себя, выключить. Намеренное раздражение, как крапинками шла, наблюдая за ними, и никак не могла привыкнуть к этому плотному горячему свету, под которым как стопроцентная «тша» – человек шарится, и везде шерсть эта, волосы, и такая вонь, как сальные железы уставшего животного, и они тычутся в эти кожные отверстия друг друга и пьют оттуда, и никто не ведёт их на позорное место, потому что они тут все заодно – шерсть, охотники и охота. Люди натянуты как стрелочники – улыбка на лице, и *меня зовут никки, а меня джон*, приятно познакомиться, и этого сложно избежать: главное, прямо стоять, прямо смотреть, и правила головы – не сворачивать раньше времени. Это привлекательная стрельба, и все стреляют, перебегая из одной пустоты в другую, кратковременная память, и люди не могут запомнить друг друга так, чтобы друг другу не надоест. Это тошнота, горе, это надоело, и все слепые...

– И я с ними... Вы видите, видите?

– Вас?

– Нет... Вы видите, так мало оригиналов.

Она срывалась и сразу же уносила это бормотание, уносила это туловище, уносила – туда, где могла бы поработать над собой, и она делала сразу физическое – обматывала вот так голову руками и трясла, надеясь избавиться от этого сухого недовольства, выраженного в сыпучести слов. И сразу же становилось полегче, она завёртывалась в одежду и брела по дороге, потом стояла у входа, и это была музыка, которой можно убить, – тынц-тынц, и пьяная толпа. Она стояла там, пока не подошли, и кто-то быстро спросил: *вы что это тут*, а она: *чтобы меня высматривали*, а ей: *это не место, идите в шафе* (там было специально приспособленное), и она шла в ближайшее шафе, и её там высматривали по полной программе, после чего удавалось, наконец, поспать, не обращая внимания на страшный жёлтый глаз за окном, глядящий из космической черепности.

А наутро этот страх – опять, он никуда не уходил, только приглушался: она боялась, что не думает себя сама, что её сознание разнесено по разным местам, и она никогда в них

не была, в этих местах, и всё время норовила отыскать эти места в людях, защищалась ими, человеческим веществом, пусть даже попорченным, но только бы что-то происходило, потому что когда она оказывалась в одиночестве с собой, ибога чувствовала неловкость, как с чужим человеком, или когда вы не сходитесь характерами – такие примерно ощущения. Она стояла утрами, днями, месяцами, вневременно – она бродила по квартире, по улице, по невидимой оси своей жизни, и она знала, что не чувствует себя, не думает себя. Человек должен ощущать всё-вокругное, а она вывалилась, потерялась, её не было в том «себе», которое каждый получает по факту рождения. *И где я?* – пыталась спросить, но – никакого ответа, и хоть бы отыскать этот вопрос, на который она отвечала всей своей жизнью, потом легче было бы вернуть себя, вдеть обратно или впервые наполнить...

Теперь – в своей комнате, острая темнота, и она – нечто, размытое образование. Всё перебивает её – предметы и звуки, и даже время суток, но надо выбирать, надо подумать себя, люди же это делают. Медленно доберёмся до головы, начиная с кончиков рук: вот пальцы, чтобы хватать, вот нога, чтобы ходить – куда-то заползти, человек целиком, маленький такой, как раньше ползали, ничего никому не должны, первые секреты, забирались в шкафы, пока туда не напихали страх, и стало не по себе... Страх и красные пятна позади, кричат это – солнце магнитное. *А может, люди и не думают себя, может, только кажется так, что они думают, а на деле...* Красочно заливаясь слезами, вспоминала себя по окружающему, как восстанавливала каждое утро – по предметам, по обстановке. И все эти мысленные окна, мысленно мнимые.

Надо было как-то спастись, надо было как-то уходить от этого бездумия, которое наполняло её дни, и она несла себя на эти светские мероприятия, где можно было не заметить своей пустоты, и она везла себя в машинах, ходила себя ногами, пила собой шампанское, целовалась своим лицом и никак не могла понять, откуда берётся эта первосила, что даёт ей импульс на все эти действия, что-то, но точно не она сама. Потому что ничтожность не может быть сильной – так она думала. Ничтожность не может быть сильной...

Куда бы она ни пришла, ей всюду отказывали в существовании. Она спрашивала: *вы видите меня*, но они не отвечали, она рассылала письма, но ответов не приходило, и тогда она поняла: смерть – это была бы проверка, умереть может только существо, наделённое самостью, а если и этого не получится...

Но пока не получалось никак: что-то отвлекало – показы или жизнь. Про показы тоже стоило рассказать. Как это началось? Это началось очень давно, это началось не сразу, но однажды началось: кто-то сказал, что ибога хороша, что ибога подходит, и они стали сажать её под большие квадратные лампы, и они начали брызгать в неё этим светом, как ослеплять, а потом махали блестящими журналами, и она сидела там бледная, с растерянным лицом – как и все они (с растерянным лицом), это была мода такая – на потерю лиц. И так она сидела, потом стояла, потом двигалась, и так же она на подиум поднялась, сначала было неприятно, что её мог думать каждый человек, сидящий в зале, но потом эти ощущения стали обычны.

И её стали называть моделью (человека), и ей стали завидовать. Она была востребована, перекормлена светом, все эти вспышки и ещё светские мероприятия, меховые, она стала богатой света, и она должна была быть счастливой, но вместо этого её всё время находили мёртвой в лесу.

Она решила умереть, и каждый раз она не могла умереть до конца – даже с этим не справилась, и спасатели стёрли горла, вынося предупреждения, но она снова приходила туда и убивала себя заново, но до конца не выходило опять, и она впадала в анабиоз – самое ценное из всех её состояний, и она оставалась бы в нём, но её быстренько оттуда извлекали и сажали на стул, сажали под квадратную лампу, и людям нравилось это потерянное мертвенное выражение лица, и они смотрели на человеческую модель, они думали через неё. И всё начиналось заново.

* * *

Стояла погода, и многие рассаживались на верандах с кругами горячительного, но кое-кто не рассаживался – он шёл, он шёл по дороге, и под ногами у него тянулся путь – это была дорога в город. Он шёл туда. В город. Туда, где люди выпускают из себя мысли постоянно, туда, где столпотворение идей и взгляды отовсюду, как разные мнения на одно и то же. Там можно было толпиться среди людей и высматривать их желания, надеясь увидеть что-то особенное, напиться чужими жизнями, гуляя по огненным улицам, как погружение в медленную агонию: города всё еще блистали, светились разными огнями – так смело, будто и не было никакого предупреждения.

Он спустился по лестнице на нижний этаж города, упал в металлическое объятие, двери открывались-закрывались, на скамейках люди сидели, разумных там ехало – единица на толпу. Люди тут были в основном беспамятные, живущие из общей головы, хотя иногда просматривались и философы, любопытствующие умами – многие из них сдались, а кто-то сказал: *я рылся в этом времени, и кроме хлама там ничего не нашлось*. Клочки тёмной воли, засевающие в них, сращивались в общую тень. Особенности люди были унижены, а обычные спасены, и посредственность шла как анестезия, её передавали по наследству, вкачивали в детей бесконечными наставлениями: будь как все, не выходи, держись толпы, она подпирает тебя боками, она вынесет тебя. Такие осторожные люди – сидели тут, и общий предок нависал над их головами – судьба.

Но он приехал сюда не затем, чтобы ходить в боевые сравнения с людьми: ему нужно было попасть в особое поселение, такое поселение, которое называли «каузомерное», оно было зашифровано в городе.

Осмотревшись, он снял небольшую комнату с видом на старую площадь, чтобы далеко не ходить: с площадей обычно быстро удавалось переместиться в необходимое место. Стоило заметить, что настоящих площадей в городе не осталось почти – таких площадей с головоломками из птиц и каменными историями, их почти не осталось, и эта тоже была имитацией площади: созданная с помощью иронии оформителей старина в виде последствия взрывов и нападения плесени. Такая мода на разрушенное была данью упадку, которым не уставали восхищаться (если что-то не удавалось предотвратить, это начинали рассматривать как большую удачу). Выжженные поля, демонстративные брэнности – всё это было неспроста, и город был не так уж и прост: раскинутый по шуму дорог, он являл собой тяжёлую констатацию человеческого страха.

Гюн закрыл дверь и нырнул в белую, выглаженную телами металла кровать, щёлкнул лампой, и тишина полилась внутрь, как тёплое вечернее молоко, в занавеске просвечивалась магия, но недолго вышло её наблюдать: глубина подступила, он разогнался и в прыжке врезался в мягкий просторный сон, который катал его внутри себя до самого утра. А когда подали утро, он принял его со всем уважением: выбрил лицо, приделался рубашкой и отнёс красавца в кафе,

где выпил две чашки росы, собранной заботливыми руками утренних специалистов-росистов, которые также устраивали спектаклевые рассветы и были потягуру, но урок с тягушками он уже не успел посетить и оставался сонливым, ровно до того момента, как закончилось утро и объявили начало деловой части дня, когда люди распределялись по газетным садам, но он не пошёл в такой сад, а вместо этого отправился на поиски каузомерного поселения.

Гюн изо всех сил старался выглядеть как один из этих людей, думать как они, пользоваться предметами, радоваться пищеварению: это было важно теперь – вернуться к человеческим радостям, это было необходимо, чтобы исполнить последнее задание, ради которого он покинул свой дом из вулканного туфа. И город помогал ему, раскладывался по составляющим – каменный, погодный, вытянутый по краешкам домов, как неестественная улыбка, человеческий город, и пазлы ощущений из чашек и еды, из ботинок и ног.

Свернув в переулок, он натолкнулся на человека, который стоял на углу и раздавал какие-то обещания, прямоугольные листы – скорее затолкать в карман, и Гюн уже давно уходил, но голос догнал его: *вечность, возьмите вечность*. Парень, раздающий листовки с вечностью, улыбнулся, а Гюн подумал: вот же оно, всё-таки началось.

Абстрактное мышление понемногу включалось, так открывался переход в каузомерное поселение. Это было непросто каждый раз – попадать туда, и он горбился, ложился, полз, он прижимался к стенам домов, но они продолжали нападать – на него нападали предметы из будущего, и Гюн не мог перейти, не поранившись, он задевал собой эти новые здания, приборы, деревья, что вырастут через множество лет; на него наезжали машины, падали вещи, и он ходил скрюченный, ходил по воде – проваливался в асфальт, нога неправильной формы, и его мотало из стороны в сторону, шея как вопрос, и везде что-то есть, некая реальность разума, ментальное конструирование – так некоторые люди резонируют с пространством, и он был одним из них: только успевал уворачиваться. По городу летели громоздкие ползны, улицы начали уличать друг друга, переходы взрывали асфальт, падали светофоры, смешивались – красный, зелёный, красный, отрывались магазины – текли, какие-то отдельные контуры – дни, времена, беспредметные... и вскоре он перешёл в каузомерное.

Каузомерное – это было поселение максимальной вязкости. Вас могло затащить куда угодно, вы могли сами себя затащить. Здесь не было плоских готовых смыслов, но всё требовалось расшифровывать, пробираясь от одной темы к другой: это была попытка переложить законы жизни на понятный язык образов, живое пространство, реагирующее на мельчайшие изменения человеческих стремлений. Сюда допускали людей, которым не требовалось много вещей, которым не нужны были статусы: у них имелась идея – боевой смысл, который они развивали в течение жизни. И здесь же они могли его защищать. Из всех боевых смыслов складывалась оборона каузомерного. Можно было приехать сюда на испытательный срок, предложить свой смысл и даже попробовать его в действии, и если смысл оказывался достаточно силён, человеку можно было остаться – в результате тут сложилась очень узкая популяция, но каждый житель – незаменимая ценность.

Каузомерное поселение постоянно делилось, оно делилось на причины и притчи, даже чудеса могли быть видимы здесь, и часто возникали метафорами новые явления – словесные конструкции и разговорные дома, уличные текстовые разметки, а вместо привычных учреждений открывались патентные бюро и мастерские по ремонту воображения. Это было сложное пространство: чтобы ориентироваться в нём, нужно было постоянно придумывать что-то или

вспоминать, это был мир аллюзий, словесных воплощений, образов, выстраивающих реальность, – и ни единого шанса на обман.

Гюну не требовался боевой смысл, он был высматриватель, и это признанное смысловое искусство не вызывало сомнений относительно его важности. Он мог свободно пользоваться каузомерностью, но принято было, что мастера брали ученика и помогали ему с главной идеей – это была условная рекомендация, но всё-таки он не хотел избежать.

Гюн заметил, что многое изменилось со времён его последнего посещения, а именно – появился какой-то фон, и он не мог угадать, поэтому остановился около первого встречного и спросил у него: *а что это тут?* И прохожий выглядел удивлённым, прохожий играл свою роль прохожего, он прищурился и сказал: *как, вы не знаете? Это же театры памяти.* – *Театры памяти?* Прохожий кивнул, и высматриватель перенёс этот кивок на себя, прошёлся волной и ощутил внутри некое полузабытое чувство, это было любопытство – то самое, тёплое парное любопытство, и он прижался к нему стенками своего организма и сразу получил такой импульс особого содержания, и *стоило бы войти.*

Он пошёл по направлению к входу. Там стояла веснушчатая китайка с большой мглой в глазах, она раздавала одноразовые платочки – для смеха и слёз – и была такая... исполнительная. Гюн взял один из её даров и только хотел промокнуть себе лоб, но увидел, что это платочки-инструкции, он бегло осмотрел всевозможные маршруты и двинулся по направлению вперёд. Вокруг стояли непонятные стены, но здания никакого не было, они стояли сами по себе, и там какие-то объявления, Гюн хотел подойти поближе, но тут явился человек, он вырос человеческой полосой препятствия, и приторной концентрации улыбка болталась на средней части его лица.

– Здравствуйте, меня зовут Антон, я менеджер по работе с парнями. Вам чем-нибудь помочь?

– Я ищу знакомого...

– И я непременно подскажу вам, как пройти к нашему удобному поиску друзей, а сейчас прослушайте краткую информацию о том месте, в котором вы оказались.

Менеджер по парням достал из папки два металлических листа, один отдал гостю, второй оставил себе, потом начал корёжить этот лист – выяснилось, что это раскладной стул. Гюн повторил процедуру со своей пластиной, и они присели.

– Добро пожаловать в театр памяти, – начал менеджер свой неспешный рассказ. – Раньше, когда не было слов, люди держали в головах целые предметы – там стояли разные виды деревьев, горы и природные явления. Это было по-настоящему больно: горы царапались, океаны давили на память... С помощью слов интеллект освободился от этих громоздких конструкций и стал мыслить знаками. Иногда в течение мысли у вас в голове темнота, но, тем не менее, мысль совершилась. Вот оно – «горы сворачивать», конвертировать в слово, и весь окружающий мир перешёл в знаки, а человек вылечился от этих постоянных распуханий головы, от этих обвалов внутри...

«Как-то он очень издалека пошёл, – подумал Гюн. – Но ничего так, живенько».

– Магия божественных воплощений переливалась из мировой памяти в миры поэзии и ораторского искусства, в компактные тела художественных произведений. Вначале были стихи,

ещё письма, потом дневники – так люди учились помнить, сперва они просто констатировали реальность, но со временем могли придумывать целые миры, и теперь необязательно было чему-либо существовать на самом деле. Появились первые специальные места для высматриваний. Люди учились видеть. Из поколения в поколение. Память давала власть над природой. Театры памяти стали моделями небес и преисподней, превратившись в чудесное, почти магическое средство для упражнения памяти...

– Тут я бы немного добавил, – сказал Гюн.

– Желаете оставить комментарий прямо сейчас?

– А как это возможно?

– Вам надо будет изложить это в специальной графе. Хотите туда пройти?

– К этой графе? Да, я бы не отказался. Вот только я никогда раньше не ходил ни к каким графам, так что...

Менеджер махнул рукой в одну из сторон:

– Вот ваше направление.

Гюн взял это направление и держался его, как только умел, но по сторонам были такие заманчивые пейзажи, такие яркие стены, что он не выдержал и свернул туда. Первое, что он увидел, – это была огромная женщина, такая женщина невиданных размеров, как рой, но только единая, жирное тело лежало на импровизированной сцене, рядом табличка «Растяжки на животе – ваша реклама в самых необычных местах». Потом ещё была клиника гедомутаций, скидка на услугу «Слюна со вкусом клубники», плакаты «Летайте бизнес-классом во сне», салон по постановке младенцев в виброрежим... Гюн сначала всё это пересматривал, но потом у него что-то такое ответило изнутри – как вытошень, но не вышел, и он поторопился уйти, несмотря на убедительную погоду, которая стояла в этих местах – погодное явление шум. И он в самом подробном смысле прорывался уйти, пока не добрался до большой тугой двери, около которой стоял человек, делающий странные обозначения руками, и Гюн сначала не понял, но потом раскусил: он творил знамение, звёздное – «по магендавид», и случайный гость долго стоял зачарованный, пока не узнал, что это и есть настоящее начало театра.

Около двери лежали молоток и двоичный гвоздь, Гюн сложил всё и вбил своё имя, вбил имя, а также пароль, который недавно придумал, и дверь сразу же приоткрылась. Он вошёл туда и увидел, что люди ходили по выделенным линиям, смотрели друг на друга, забирая кого-то в память. Театры ломались из людей, как внутренние силы, это были театры их поступков и мыслей. Гюн походил по различным местам и, наконец, наткнулся на большой кабинет констатаций, он зашёл и смотрел из укрытия на мир, а возле него проносились события в упрощённом режиме. На стене висели поля, он выбрал классическое белое, пододвинул к себе и начал печатать:

«Как они все, в превосходящей степени, друг по отношению к другу, сидят в одной плоскости – расположены, ходят, молчат, думают (не думают) и снова молчат. Театр памяти; а именно – фигуры расставлены по порядку, как реперные точки публичной речи, которая должна прозвучать – так было раньше («театры памяти»); теперь же это люди стоят. Короткие пучки вздыблены, лезут по сторонам, и это нервная система души, лицо вместо головы, погладишь его – и человек заработает, это человеческие сети, нервные сети. Все они ходят по ним и высматривают себя, какие-то события, просматривают – это похоже на убитое время, и трупы везде, но вот парадокс: они разучились без этого выживать.

Охота за ощущением явленности себя в чужом сознании. Раньше для этого существовала любовь (дружба), но теперь – где эта дружба? Они сидят там, в маленьких окошках, собранные из точек, день за днём люди запоминают себя через точки, как слепые, читают пальцами, радуются пальцами, говорят... Мгновенное прошлое и мгновенное настоящее. И ходят там, забитые этими мелкими впечатлениями, как будто создают новую силу, которая являет их, а до того бродили как тень. Живут, фотографируя собственные отражения, и это же горе, но людям нравится выставлять: какой я особенный в этих грандиозных носках, а ещё съел крота, вы когда-нибудь пробовали крота?..»

Гюн хотел продолжать, но буквы больше не вбивались, и выскочила надпись «зануда», он попытался её удалить, но всё никак не мог удалить, в итоге пришлось стирать всё сообщение. Он положил поле на место и вышел в общее пространство. Надо было у кого-нибудь спросить, когда им ждать новой поисковой экспедиции, он же для того и пришёл, чтобы найти кое-кого, и Гюн двинулся к ближайшей группе людей, но они не хотели его выслушать, и он спросил: *кто вы такие и почему вы не хотите меня выслушать*, но они как будто не замечали его, и только всё время смеялись.

– Это хахаши, – почувял он за спиной, обернулся и увидел, что там стояла бабулька такая, в ангоровой комнате, уютная старушечка. – Говорю, хахаши это. Нормальные ребята, немного тупиковые, но в целом иногда можно повтыкать. Хотите?

Она протянула ему игольную подушку, Гюн машинально взял и увидел, что на ней изображено что-то такое, раковина или дикие страсти; старушка поспешила объяснить:

– А, это верблюжье ухо. Они тут всё перепутали, у них иголка через верблюжье ухо проходит. Как запомнили, так и говорят, и вся сувенирка в таком же духе, берите-берите, у меня они во всех карманах – на работе выдают. Я тут вроде как гид.

– Это хорошо, потому что я немного потерялся...

– Это вы-то потеряны? Вы ещё вполне себе найденный. Я наблюдала, как вы вбивали там, очень уверенно... Вы высматриватель?

– Я – да. Меня зовут Гюн.

– А я бабка-кишечница, но только обязательно через дефис, тут есть ещё одна такая – кишечница тоже и старая серая голова трясётся, так вот она без дефиса и путают иногда, говорят: *откуда у тебя серая голова...*

– Приятно познакомиться.

Он пожал её заплетённую венами дряхлость – рукой выдалась.

– Ладно, ещё увидимся, Гюн, если нужен совет или поговорить с кем, вы только спросите: *а где теперь бабка-кишечница?* Тут все меня знают, я вроде как символ, собирательный образ, хожу и констатирую, работа у меня такая... Просто спросите, где кишечница, и сразу вам любой...

Бабка стала бормотать себе под нос, и Гюн начал отходить, но так, чтобы не обидеть, и вроде бы не обидел. Шёл, озираясь по сторонам, там стояли разные стены – жизненные и деловые, а ещё указующие – те, где можно было изучить список предупреждений, чего лучше не делать, находясь на территории театра, он начал изучать, но так и не смог дочитать до конца, потому что его отвлекли: какой-то человек неподалёку совершал стремительные манипуляции телом, разводя руки по сторонам. Гюн повернулся к нему:

- Простите?
- Ну, для начала здравствуйте. Здравствуйте, дорогой друг, и ответьте мне немедленно: вы будете мерить?
- Не понял вас.
- Будете ли вы мерить? – повторил человек, тщательно выговаривая слова.
- Я понял фразу, которую вы произнесли, но пытался поинтересоваться, что именно вы предлагаете мне мерить...
- Лицо, мой милый, конечно же, лицо! Что же ещё?

Гюн посмотрел на инструмент, который был в руках у незнакомца: круглая линейка из разряда *мерить по общим меркам*.

- Спасибо, я как-нибудь потом.
- Ну, как хотите, а то ведь стали бы более популярным, у вас же ни одного друга, бедняга, и как только до этого дошло? Такой прекрасный респектабельный человек – и без друзей?

Лицемер цокнул несколько раз и попытался измерить лицо на расстоянии, но Гюн вовремя выполз из этой рамки:

- Благодарю, но я действительно не нуждаюсь.
- Как хотите, – ответил лицемер, сразу же потеряв интерес к дальнейшему разговору.
- Но, может быть, вы знаете, где тут поиск людей? – попытался спросить Гюн, но замерщик уже исчез.

Какие они тут странные все, подумал он, и вышел на новый участок, где стояли подвижные шатры, видимо, там, внутри, шли какие-то представления. На развилке были анонсы текущих событий – «Шоу зацикливания», «Хранение в облаках», «Лекторий». Последнее слово показалось ему наиболее подходящим, он подошёл к этому шатру, и там слова расходились, давая названия лекций. Он проскользнул глазами по заголовочным рядам, и взгляд сам по себе остановился на слове «боггеры» – так оно скользко звучало, и ему немедленно захотелось уточнить – то ли они имеют в виду, или всё-таки он слишком предвзят.

Стены шатра были сделаны из тайны, но такой, не очень надёжной, поэтому Гюн без труда попал внутрь. Это был зал, и там сидели мужчины, взрослые мужчины с длинными субъективами, которые лежали у них на коленях или торчали из рюкзаков. На сцене стоял такой же человек в серой толстовке, только на шее у него вместо субъектива висел объектив, и этим он качественно выделялся из общей толпы.

- Каждый человек утверждает свое собственное бытие, отличное от бытия того, что не является им самим, – проговаривал оратор как по учебнику.

Гюн удивлённо приподнял брови.

- Вы задаётесь вопросом: а действительно ли это существует? Действительно ли объектив существует? – вещал человек. – Как видите, да, потому что он висит на моей шее и, значит, он действительно существует. Но вам не обязательно пользоваться этим. Есть кое-что более действенное для вашего «самообнаружения»...

Он замер:

- Это ваши мысли.

В аудитории раздались волнительные перешёптывания.

– Кто-то сидит как осел (через «е»), но другой уже хочет бежать, он хочет приза, и он вкладывает жизнь – вкладывает в театры и начинает заваливать всех своим настоящим, и в итоге его высматривают сотни и тысячи, и тогда он называет себя «боггер», и он говорит: *я боггер, я боггер для вас*, и они слушают его, и чем больше людей сгенерировало его в своей голове, тем этот человек сильнее. Они слушают его, они внемлют ему, день ото дня они живут по его правилам, они видят мир сквозь его глаза – это и есть истинное могущество.

Слушатели закричали, подняли субъективы и начали вспыхивать ими, выражая своё крайнее одобрение. Комната наполнилась каким-то едким ощущением, люди лезли по плечам, вставали друг другу на спины, ломились на сцену, чтобы хорошенько пыхнуть, они пыхали соседям в открытые лица, и кто-то закричал: *я ослеп*, а другой падал без сознания, но все они продолжали смеяться. А Гюн ничего не понимал, он двинулся к проёму, чтобы не остаться без взгляда, там был какой-то переход и надпись «Соглашение», гость торопливо кивнул и провалился в другое помещение.

Это был такой же лекционный зал, но люди там сидели на полу. Он уместился на малый свободный край, но тут же услышал, как около него носится странный шипящий звук, оглянулся и увидел, что по сторонам сидели женщины различных конструкций и лет, они недоуменно смотрели на него и шушукали местоимениями, перекладывая их с языка на язык. Гюн выслал лектору улыбку, дружественно покивал по сторонам, и вскоре тишина в зале восстановилась.

Лектор надвинула очки, вернула глаза на свои надписи и продолжила:

– Как они сидели, запертые в кармане уюта... Влюблённые. Лучами били вслепую, мучительная теснота ощущения и тела, быстрая теснота, разбитые лагеря сердец... Это было увлекательное занятие – пролазить в головы других людей, проявляться как человек, сформированный собственным образом, отпечатываться и вращаться туда всё крепче и крепче, пока не появляется возможность красть питательные вещества партнёра, красть его время, но главное – становиться хозяином его взгляда. И теперь, куда бы человек ни смотрел, он видит через вот этот фильтр... Что бы он ни делал. Даже поцелуй. Когда они целуются, чтобы красть свет у другого, они не закрывают глаза! Это вы сразу можете понять: если он хочет из вас что-то вытащить, у него будут открыты глаза.

Гюн изо всех сил удерживал на лице состояние интереса, потому что на него смотрели гораздо чаще, чем на лектора.

– Да, люди привыкли высматривать друг друга. Они высматривают, и это называется семьями, и это называется вместе жить, хотя, конечно, они живут в отдельных световых телах, но многие верят, что однажды их можно будет соединить, и экономия света была бы возможна... Появляются дети – открытые запасы, это свет, который они пытаются изъять, но как им воспользоваться – вот в чём вопрос. Как его выдержать – этот тёплый, абсолютно чистый свет? Это подходит не каждому, и им это не подходит...

Всё было так мило и так бессмысленно, что Гюн совсем расслабился и протянул руку к голове, чтобы заслонить зевок, но лекторша уловила это движение и тут же очутилась рядом с ним.

- Я вижу, у вас есть какое-то возражение.
- Гюн почесал подбородок:
- Ну что вы! Я согласен со всем.
- То есть вам кажется, что любви никакой и нет?
- Вы же сами только что говорили!..

Женщина наклонилась над ним и начала хлопать его ладонью по лбу.

– Это называется «вдалбливать», – пояснила она. – Это лекция, от слов «лекарь», «лечить», и вы должны усвоить то, что я говорю, иначе вы никогда не выздоровеете.

У Гюна даже дыхание перехватило от такой наглости, но он всё же собрался:

– А с чего вы решили, что я чем-то болею?

Зал рассмеялся, и Гюн увидел, как по его коже расплзается противный жёлтушный цвет – они язвили прямо в его присутствии, прямо на него, а лекторша продолжала хлопать ему ладонью по лбу, и это было крайне неприятно, он ненавидел, когда люди начинали вот так, прямо в лоб, терпеть не мог. Он вежливо отвёл её руку, но тут же почувствовал, что утратил свободный взгляд: ему одели что-то на голову, а потом повели. Из текста на стене предупреждений он помнил, что за некоторые нарушения полагалось исключение из театрального сообщества...

«Ну нет, так просто вы от меня не избавитесь», – подумал Гюн и произвёл звёздное знамение по магендавид, широко закидывая руку, как бы желая отогнать всех недоброжелателей, и это сработало: его отпустили, а кто-то даже стянул мешок с его головы. Гюн потёр глаза и увидел, что перед ним газета и сам он сидит в городском кафе на старинной площади, и около него стоит человек в тщательном фартуке, официально повязанном.

– Вы будете что-нибудь пить? – спрашивает человек.

И Гюн доверчиво улыбается, рассматривая его белые перчатки, туго набитые человеческими пальцами.

* * *

Ей постоянно звонили, чтобы проверить, не пошла ли она в лес убивать себя, и ещё чтобы узнать о состоянии её головы, потому что голова была рабочим инструментом – всё, что к ней прилагалось, голова должна была быть красива, и это «красиво» – то, за что она могла уцепиться. Красивая голова – это лучше, чем ничего, и она всё время пыталась сделать эту голову красивой. Целыми часами могла вычёсывать из волос бабушек. Ибога ходила и вычёсывала бабушек, но они продолжали оставаться там, этими секущимися кончиками, этими серыми корнями, и, казалось бы, только все ушли, но через месяц опять надо было браться за них. Она вычёсывала их щётками, расчёсками, выскребала рывками, но бабушки настойчиво возвращались.

А ещё приходилось бесконечно обрезать эти руки, как будто ногтевые пластины чересчур разрослись, и она не раз приставляла граммофонную иглу, чтобы эти пластины проиграть, но музыки никакой не возникало, и надо было залечивать эти ногти под специальными лампами, где тётечки с зашторенными ртами, такие круглые глаза: *и что вы с ними делали? – Я слушала.* – *Вы слушали ногти?!* Она опускалась на кресло и смотрела, как увеличиваются пальцы,

возникают новые ногти, и не было никакой музыки в них – понимала она, приставляя граммофонную иглу...

Ей бы наплевать, но постепенно привыкла: как родственники – все эти мастера, и почему они так ценили её красоту? Сначала она только присматривалась, но со временем поняла, что это единственное, о чём она может заботиться самостоятельно, из «себя», её красота, и ибога возвращалась к ней из раза в раз, смотрела в старые зеркала и стирала оттуда эти маленькие нолики её счёта с жизнью, который она никак не могла свести; перебирала по пальцам – жизнь, заплетая руины волос, воздвигая наряды-призраки, курила кумиров... Тем и жила, наследуя от людей страхи о своей относительности.

...Показы. Их пора было описать – хоть со стороны, хоть образно. Показы. Как-то они ходили, и им хотелось надеть что-нибудь такое особенное, и тогда они подумали: а почему бы не надеть человека? Скинулись и надели. Это назвали «шоу человеческих обличий», и там были люди и их модели, эти девочки, на которых примеряется жизнь, – тонкие такие, прозрачные, как бесконечность, и каждый хотел примерить свой вариант развития дел, для этого они и приходили туда, садились около подиумов и ждали, когда же эти пробные выйдут; раньше люди чувства испытывали, а теперь – человека.

Это были модели для мыслей – не те, которые демонстрировали одежду, но те, которые представляли модель человека, они выходили на подиум, как пробные люди, и зрители высматривали различные ситуации, совершали мысленные поступки и могли прогнать через них любую комбинацию будущего. Их сознания использовали для того, чтобы влюбляться, играть, убивать, чтобы находить поводы, угадывать решения и смотреть на примерную кару, которая могла быть получена, и стоило ли на такое идти.

...Ибога сидит на краю, почти статичная, и ветер, вживляемый в голову, даёт ей немного свежести. Столько сегодня гостей... Всё крутится, мельтешит, ей кажется, что они металлические, люди металлические, а между ними – пластмасса, тёмное стекло, такое неестественное, что словно ничего и нет между ними, но там стекло всё же, и они дышат на него кислым дыханием, переработанным воздухом.

Девочки такие красивые сегодня, собирательный образ – мария, мария, морщится, но морщиться ни в коем случае нельзя, как и говорить, а то бы она сказала: *вторник-пальто. Вы понимаете, о чём я?* Эти слова как будто созданы друг для друга: *вторник-пальто. Видите, я вставила переход, сходила за переходом и вставила его...*

Свет выключили, оставили только лампы у них над головой, и зрителей было не видно, но ибога знала, что кто-то нацелился именно на неё. Она расслабила голову и приготовилась, что вот-вот в неё хлынет этот поток бытовых размышлений и чувственных восприятий, и глупости, и тоски; каждый будет прокручивать свои мысли. Спекуляция доверительной близостью, раздирание личного пространства. Немного зажала пальцы: нельзя было меняться в лице, но надо было послушно терпеть это стремительное заполнение головы – летящие наискосок помыслы, колонны шагающих в голову человеческих проблем... Она должна была радоваться этой полноте, но вместо этого чувствовала нарастающее неприятие, и откуда оно могло произойти? Ибога же не умела думать себя. Наверное, что-то в зале переменялось – философ затесался или сложная мысль.

Платье, как смерть платья. Руки на коленях. Кто она такая? Проходной человек. Кто она такая? Мужчина с бытовыми проблемами, семейная пара, общественная организация – всё через неё, мысли – чужие, сама бы ни за что не дошла, какие-то шорохи, и кто бы объяснил, как воспользоваться головой, другие вот пользуются, и зачем-то приделан рот...

Дряблая рябь бродила по поверхности зала: первая часть подходила к концу. Зрители открыли выемки с пудрой и начали бросать на себя, потом хлопали, и пудра светилась. Все радовались и тоже светились, выглядывая из этой светящейся пыли, а сам процесс назывался «запудривание» – старое общественное развлечение.

Кое-как отсидела вторую часть, потом стояла в своей квартире, и что-то шло изо рта – как будто слова, но бормотание, и ничего не понять. Ходила, говорила: *теперь только два маршрута для меня – на подиум и в лес*. Прийти туда, в лес, и читать по ним, оправдывая свою жизнь, валяться там, как мёртвая, на вывернутом желудке земли, чувствуя переваривание, медленное, как издёвка. И она впихивала себя, придавливала к земле, говорила: *ешь, ешь, убей меня*, и больше ничего у неё не было, кроме убивания себя. И вот же в чём интерес: она могла бы убивать себя под лампами этих квадратных софит, она могла бы погибать медленно, как разрушенная постоянными замыканиями, она могла бы сгорать, но она боялась этого больше всего, она не хотела сгорать: хотела, чтобы всё это кончилось, но никак не могла решиться, она не могла решиться, и в последний момент она становилась как ибоба, одна из них, и лес не умертвлял её.

Но софиты... Тупо, по-вещистски, смотрели на неё, световой сглаз, и она пыталась узнать, что же они видели там, и она замечала это – красоту, вот для чего-то она была нужна – хранить красоту, доносить её, удерживать это состояние красиво, как они называли его.

Что это было такое – красота? Как-то от одного из зрителей ибоба уловила следующую мысль: красота – это глубина между лицом и телом. И она стала смотреть на своё лицо в этом контексте, она смотрела на себя в зеркало, и однажды ей показалось, что глубина начала зарастать, и это вросшее в голову лицо: она была некрасива, и потом все эти трещинки, древесные признаки – кожа прямо на лбу и около губ стала как кора, и она тёрла своё отражение, она думала, что заразилась деревьями, она не знала, хорошо это или плохо. Просто сидела и тёрла механическими движениями, надо было избавиться поскорей, – но все эти трещинки, они оставались там, и тогда она снова садилась на траву и читала по деревьям, чтобы убить себя. И иногда ей даже казалось, что она читает что-то конкретное, и она путешествовала по этим природным историям, приходила в случайные дома... Потом кто-то расскажет:

– Это был дом, и она пришла туда. Она не знала никаких трещин, когда пришла туда, она не знала этого ощущения, когда у человека кожа на руке становится мягкая, как салфетка, и начинает проваливаться... И там везде вокруг были трещины, стены были покрыты трещинами. Она пыталась потрогать, и царапины бежали по её рукам, то тут, то там бежали, оставляя внушительные следы, и надо было что-то предпринять, надо было что-то предпринять, и в итоге она начала кричать. Она кричала, но не так, как люди кричат от страха или раздражения: она орала всеми своими внутренними органами, она кричала своей кровью, своими мышцами и сухожилиями, она кричала костями и осью своих волос, она сгенерировала этот крик – и она спаслась: трещины отступили, и девушка бежала по городу, тугая как колокол, и внутри неё дребезжали эти невесомые частицы внутреннего мира...

– Ибоба, о ком ты говоришь? Кто там бежал?

Рядом стоял молодой человек. Девушка вглядывалась в него, как будто пыталась узнать, но всё никак не могла узнать.

– Это я, – сказал он после некоторой паузы.

– Это я, – повторила она тем же тоном. – Это я... – она старалась припомнить, но, кажется, не удалось. – Ладно, о чём мы говорили. Ах да, я что-то спрашивала, я спрашивала вот что: вы умеете читать по деревьям?..

* * *

Мир, который совершался снаружи. Стоило попасть в обычную жизнь, и все вещи на улице – фонари, лавочки, витрины – были настолько прямолинейны, что становилось неуютно. Хорошо, что он всё ещё пребывал в каузомерности, где можно было пересаживать слова, и человек как бы погружался в речь, слова становились выпуклыми.

Это было маленькое промозглое кафе, и вместо стен стояли аквариумы с синими пузырями, истолкованными в виде пузырей или в виде синего, как в городе на него давила вся материя космоса, так здесь были вздутые стены – лёгкий антураж, и к ним не припирало. Официант подходил и делал удивлённое лицо каждый раз, но так было задумано, и в этот раз снова повторилось. Гюн попросил: *кофе с бездной, пожалуйста. – С сахаром? – Нет, с бездной.*

Это было такое кафе, раньше их называли «трактирами», меню тут не приносили, а на кухне трудились не только повара, но и трактовщики – слаженная команда творческих людей. Человек мог попросить маленький жевательный обман, удачу или повествование люстры, и ему приносили еду или предмет, или предмет из еды, или предмет разговора, ему приносили именно то, что он заказал, и если это радовало его, если это улучшало его, заказ считался исполненным.

Итак, *кофе с бездной, пожалуйста.* Официант с набитыми пальцами хитро подмигнул, и вскоре к гостю плыла длиннющая чашка, глубокая, как мысль, и для неё уже было готово отверстие в столе, куда она ставилась, – получалась целая бездна из кофе. Гюн тянул из этой чашки, и мысли плавно струились по его внутренностям, как мысли, переодетые в кровь, и ему удалось добраться до самых глубин – но всё-таки что-то мешало, какой-то любопытный взгляд со стороны; он начал рассматривать окружающих и вдруг натолкнулся глазами на странного.

Это был парень, который выглядел как ржаной: спутанные дороги волос, тощее румяное лицо, старая коричневая кофта... Он растворился бы в каком-нибудь пригороде, забитом торчащей из поля земляной дырой, но здесь он был особенным, стоял там, милый такой, с разбросанным взглядом, психопат или аутист, паралитик на всё лицо – с огромными глазами, удивленный всему, что стоило бы обычного одобрения. При виде его хотелось бы задать очевидный вопрос: «Когда он бежал из подвального тира жизни, где отстреливают неудачников за мягкую игрушку уточки?» Но Гюн произнёс это несколько иначе: «Не хотите ли принять приглашение на обед, в течение которого мы будем царить умами над правильной сферой маневренных глубин колдовского напитка, пахнущего огнём и глиной – как пили себе подобных?».

Высматриватель не хотел его испугать, поэтому сказал именно так, как это выглядело в нём в виде мысли (когда он так говорил, то каждый раз удивлялся, какое количество пафоса при этом выделяется).

– Я никогда не умел общаться с людьми, – ответил молодой человек и двинулся вслед за приглашающим.

Теперь у них было две бездны в столе, и третья была заложена в разговор. *Здравствуйте, я Дариус*, сказал он и начал рассеиваться прямо на глазах – на человека и свет, как маленькая колонизация мира через размытые границы жизни, и Гюн подумал, что может высмотреть этого человека за считанные моменты. Но лучше он защитит его.

Кофе был раскидан по телам, и внутренние интерпретаторы гадали на гуще характеров, выглядывая казенные дома и долгие дороги. Гюн припас свою историю на потом, а первым рассказывал Дариус.

– Я жил как все – какие-то офисы, а потом мне стали показывать все эти страшные проишествия, и многих людей с обрубленными фразами, и чёрных стратегов, и сытников; я был одним из них или просто никем.

– Вы были никем?

– Нет-нет, сначала я был Дариус, человек со сложенными руками, и я ходил в разные города, чтобы говорить людям о добре, но меня никто не слушал, это было устаревшее слово, «добро», и меня никто не слушал, тогда я решил разузнать, как люди называют это сами, и я стал одним из них, сначала притворился, что стал, но потом это произошло на самом деле. Я стал одним из них, и тогда из меня вылетели все птицы... И я подумал: а где они жили там? Птицам ведь нужно петь и прыгать по деревьям с ветки на ветку, значит, где-то внутри меня есть деревья, и есть ветки... Дерево – это боль, сгустки боли, что-то сжатое, и я подошёл к внутренним деревьям, и я говорил: *отпустите своё тело, расслабьтесь, хватит этого усилия, которое вы прикладывали сотни и тысячи лет*. Так я сказал и сразу же подумал: значит, ещё можно было поискать что-то внутри, найти там добро, понять, что такое добро, и почему оно считается глупым или старым, или как это... И я придумал свой боевой смысл, я решил бороться за него, расширять этого мир, и для этого нужна основа: уберите свои лица, я буду ходить в земляных онучах и пить информативную воду, я выживу....

Гюн смотрел на него и видел, что он явно был не «из всех». Социальное меньшинство – странный. Поправлял руки, чтобы нормально размахивали, и всё его удивляло, всё его взбалтывало, и он хотел рассказать, и чесал левое полушарие, в котором у него застряла какая-то речь, и он пытался выгнать её оттуда, но она никак не вытряхивалась. *Я вижу то, что они потеряли все... ну, как это...* Речь сбивала его и не давала покоя, но забыть о ней он всё-таки не мог, как и не мог отказаться от неё: это была речь его грядущего выступления, и он был уверен, что однажды оно непременно состоится.

– А какой у вас смысл? – уточнил Гюн.

– Я ищу что-то такое... Рабочее название – «обволакиватель».

– Тот самый обволакиватель?

– Не думаю, что тот самый. Нечто общее для людей, способное обволакивать, чтобы все эти новости так прямо не врезались в их голову...

– Может быть, старая добрая религия?

– Религия, да, это то, что связано со светом. Приходишь, а там человек светится, но никакие лампы не включены... Это был хороший проект – тёплый, большой, сказочный, но теперь религия устала, и её больше нет, ни с новыми батарейками, ни электронными молитвами – никак не работает. Вера уже не является таинством, вместо целей у людей какие-то обрубки,

инвалиды целей, нужна другая идея, нужен обволакиватель, что-то такое мягкое – и изо дня в день, внутреннее ощущение спокойствия, защитная оболочка, чтобы человек видел через добро, и тогда светом не будут спекулировать: он будет естественно возникать изнутри...

– Но все эти новости...

– Человек как бы ошибся, выбрав развлечения. Он должен отказаться, сказать: извините, я не хочу так много развлечений, идите без меня, я хочу развиваться и брать то, что мне действительно нужно. Идёт война за сознание, и в этой войне само сознание может погибнуть.

Гюн окидывал Дариуса собирательным взглядом городской толпы и очень удивлялся, как этот парень смог стряхнуть с себя все автоматизмы, веками впихиваемые в человека, как он мог найти в себе подобные мысли. В его речи эпилептики и философы качались на своих осях, остальные ломались как геометрические тела, счерчивались в планы и шли по ним, выходя за любые границы.

– Вы задали интересный вопрос, и это трудно – защищать открытый вопрос, нужно много света, нужны озарения, нужен запас энергии, независимый от социальной машины. Он есть у вас?

Дариус помотал головой.

– Такого запаса у меня нет, но есть цель, будущий боевой смысл.

Гюн посмотрел на него и неожиданно увидел Дариуса в городе: вокруг него вились вруны, лепили на него прозвища и шутили над ним – нелепое чудище глазами социальной кишки, которая оказывалась тонка против этой феерической самооценности...

– Я мог бы вам помочь. По условиям мне надо подготовить ученика, к тому же наши намерения пересекаются, и я знаю такое место, где можно найти достаточное количество света, который понадобится для защиты боевого смысла.

– И вы хотите взять меня в ученики?

– Если у вас отсутствуют возражения.

– Конечно же, я буду польщен, но только... извините мой нескромный вопрос, но не могли бы вы немного рассказать, какая у вас цель, какой у вас план?

– Да, я бы мог немного рассказать.

Гюн кончил пить свой кофе, уселся поудобнее и принялся говорить:

– В последние годы я почти что не встречался с людьми, но также не был совершенно закрыт, время от времени я отправлялся в город, чтобы просто погулять. Иногда кто-нибудь узнавал, что в городе высматриватель, и они подходили и спрашивали: вопросы всегда разные были, но в основном они спрашивали, как им стать счастливыми, и я объяснял, что на такой вопрос можно ответить только как *стать ими*, потому что сам этот вопрос *не ловит*, он не спрашивает так сильно, с такой энергией, чтобы хотелось ответить на него изо всех сил. Но бывают вопросы, которые содержат в себе эту положительную бездну, и тогда правильный ответ может стать частичным содержанием человека... И вот один из таких вопросов, и случай, который я очень хорошо запомнил. Какой-то человек подошёл и спросил: *а как мне сделать так, чтобы моя надежда сгустилась, и я мог действовать её как предмет?* Так он спросил, и я не смог ответить ему из глубины своей жизни, но вот что я сказал: *если вы существуете, нужно существовать точнее*. Такая была рекомендация, фраза, с которой можно было начинать, и я начал, но продолжить уже не смог.

...Я остановился и разглядывал это размышление: зачем они спрашивают, как им действовать надежду, зачем они переводят качества в предметы, это царапается, и ничего нельзя разглядеть, как бы изодранный изнутри, с шатающейся головой в маятниках, туда-сюда качаться на стуле, пока не перестанет жечь, и может, правильно, что они смотрят предметами, это смотреть неживым, оно не болит так – посмотреть стеной, потолком, пиром большого количества еды через прожёванные страхи зверя, посмотреть зубами или носить с собой зеркало и выглядывать из него этим лицом – осторожно, стараясь не пораниться об углы... Вот я высматриватель, крайность, описывающая проблему, которой они будут болеть; лучше бы они не шли туда, лучше бы они сразу увидели, как это – болеть, каждую секунду восстанавливать себя, снова находить там и проговаривать: *вот он я, такой-то, такой-то...* Обязательно проговаривать, чтобы длить, как из множества маленьких человечков куча-облако, кучевое состояние жизни, толпа внутри меня одного, какая-то давка, и её воссоздали предметами, чтобы понимать мир...

Я пытался объяснить это самому себе, как это – понимать жизнь предметами, но удивление оставалось, вопрос оставался, и казалось, что я находился где-то снаружи. Это то, что они думали про меня: вот он сидит там столько лет, на берегу рыбокаменной воды, как проявленный через некий пейзаж, он сидит в миллионах чужих голов, он сидит как засевший, а вокруг него – дом из вулканного туфа, под крыльцом которого – двояко зарытый кожаный тубус, и там хранится этот предмет, который можно использовать как надежду или как волю. В этом они были уверены – что обязательно найдётся предмет. Иначе откуда берётся сила?

Конечно, они приходили, чтобы искать, вторгались в самую жизнь, бродили тенями, не зная, в чём меня обвинить, и приписали мне создание рыбокаменных людей, как будто я нарочно спровоцировал их жизненность... Ходили совершенно свободно, и как бы я ни просил их покинуть чужое помещение, ничего не подействовало. Тогда я решил устранить этот дом, и мне понадобился лампион, я начал искать некий понятный вход – как мне попасть в эту ситуацию, когда я иду на поиски бумажного лампиона, мне нужен был некий вход, и долго ничего не показывалось, пока я не наткнулся на боль. Кто-то подбросил мне боль. Она лежала прямо посреди моего дома, и я подумал: наверное, кто-то из сыщиков потерял, кто-то забыл или оставил, и я потрогал эту боль, но оказалось, что никакой боли в ней не было – обычная брошенная цель. Я видел похожие отростки в лесу. В одном из путешествий я наткнулся на лес и сразу не понял, что это за лес и почему он невидим, но дальше, внимательно посмотрев, я увидел, что это лес брошенных целей, сколько их там было, страшное зрелище... И жизни бы не хватило, чтобы всем им помочь, а вот одной этой можно было помочь – вытащить её, спасти, дорастить. Она лежала там, маленькая, одинокая цель, и я старался её не убить, когда я начал потихоньку высматривать, и я смотрел туда малейшими прищурками, но так ничего не получалось, и тогда я заглянул в полный взгляд, я заглянул в полный взгляд – и цель бешено заматалась, она так пицала, брыкалась, выпалась...

– Что же это была за цель? – не выдержал Дариус.

– Это была цель... самая понятная из всех целей, такая же, как и у вас. Впрочем, не думаю, что мы будем беспокоиться по поводу конкуренции. Эта цель – найти общую идею для людей.

– Но что это, какое-то совпадение у нас?

– Можно сказать и так. Вообще-то я пришёл сюда, чтобы исполнить некоторое задание, а также выставить альтернативный взгляд, убрать зрительную помеху, найти бумажный лампион,

отстранить свой дом... Это такой набор, который выманит из укрытия любого высматривателя. Но, в целом, конечно, можно сказать и так, – улыбнулся Гюн.

Затем он позвал официанта, чтобы заказать новый кофе, и это был кофе, как северная мечта, как кофе, создающий заново мир, мир, полный жадных загадок и вед.

* * *

Слова давно перестали быть чем-то, просто выходящим изо рта. Люди не носили одежду, но одевались в слова, они носили их на себе, и часто у этих слов не было никакого смысла: это было просто слово с искусственно нарощенной историей, и люди носили это – суррогат, они говорили этим, отдавая свои слова, и ели чужие – названия продуктов и жидкостей, вкалывали фразы, могли запустить внутривенно, засунуть в рот – или новая услуга «беру с собой», когда слова клали в специальные мешочки, или разливали по бутылкам, или наклепленных таблеток давали пачку, и это были не простые мешочки, но ответы на вопросы: почему вы такой бессмысленный, например, хотите ответ – выпейте вот эту фразу, или лучше цитату возьмите – в качестве витамина...

Личные словарики радостей и обид, и это то, что они придумывали в течение жизни, и дальше гордились этим как многотомным трудом, говорили, что *это моё мнение*, и никто не замечал примыкающего эффекта щекотки, как у этих фраз начинали прорезываться перья, и постепенно они, став типично крылатыми, летали повсюду, не имея никакого веса.

Появились такие люди, которые страшно зудели, и виной всему – чешуя, виной всему эти кавычки, которые их покрывали, и они стояли там, все такие переносные, в жутких кавычках, и постоянно чесались, как из-за этой чешуи, и знают ли рыбы, что они образны? Люди зудели и потирались о всякие стены, тёрлись о здания, носили себя с места на место и в некоем дополнительном смысле, мол, вынести себя не могли. Шершавые, сначала плакались, а потом вдруг стали нападать на людей, хватали их в кавычки, и трудно было отбиться самому.

Вынимая шум, замахиваясь им, они общались. Если непонятное, *это какая-то муть* говорили и отправлялись туда, где транспаранты – готовые смыслы и скобка в одну из сторон, изучение правого-левого с точки зрения мимики лица, и это кодирование эмоций, настроеннометрия, цифровые смешки или печали, пыль фотографий – слепленные точки-имитанты, обсыпаясь ими, обкладываются фотографиями, только чтобы не приходить к самому себе. Готовые смыслы – и не надо анализировать, задействовать воображений, сцеплять смысловые пути, не надо этого делать, и никто не скажет, что, сев там, в театре, они высиживают глупость, а когда она подрастет, что-то хрустнет, и станет слишком заметно, что именно вылупилось, но они как будто не чувствуют, на чём сидят, и каменные зады – сами сказали и рассмеялись (каменные зады – это то, чем привыкли гордиться).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.